
Олег ЕРМАКОВ

ЛЕГКАЯ НОША ГЕОЛОГА

Эссе

Впрочем, герой нашего очерка не считал себя геологом, что говорится, до мозга костей. О чем и говорил честно в своих стихах. Вообще в названии последнее слово запросто можно поменять на «электрик», «хлебопек», «народный судья». Валерий Меньшиков именно в ипостаси электрика и предстал нам на далеком заповедном берегу... — хотел добавить «моря», но почему-то удержался. Сам Валера, родившийся вблизи этого моря, сиречь Байкала, и много поживший прямо у его вод, никогда не употреблял этого эпитета, ни в стихах, ни в письмах, ни в разговорах. У него было табу на затасканные определения. Почему и свежи его стихи. Но не только поэтому.

Да, так вот, прибыли мы, вчерашние десятиклассники смоленской школы, вдвоем с товарищем Гешкой Тереховым на брег мечты — в Баргузинский заповедник работать лесниками, немного освоились, огляделись, познакомились с тамошними порядками и жителями, временными и постоянными, то есть бичами и коренными, среди которых попадались весьма занятные персонажи, особенно между первыми, и однажды узрели и электрика: он стоял на кошках, специальных металлических приспособлениях, надетых на кирзовые сапоги и крепко охватывающих столб; еще к столбу он крепился и цепью с широкого кожаного пояса. Ветер налетал с Байкала, и борода электрика развевалась черным флагом. Чуть позже во всемирной истории я увидел изображение Василия Кесарийского с точно такой же бородой. Человек этот чинил провода. Чувствовалось, что работа эта ему по сердцу: покачиваться над кристально ясным простором, взирать сверху, давать свет. Но «взирать сверху» здесь означает буквальное физическое положение и простое смотрение, ничего более. На мир и людей этот человек никогда не смотрел «свысока», — сбоку, с обочины — да.

Потом нас направили на Северный кордон на долгий сенокос, и в Давшу, поселок центральной усадьбы заповедника, мы вернулись только осенью. В один из осенних, уже ознобных и фантастически светозарно-цветных деньков к нам и зашел этот чернобородый широкоплечий человек с необыкновенно ясными и пронизательными глазами — уже как печник. Он проверял тягу в печи, осматривал на чердаке трубу. Увидев на тумбочке громоздкий том всемирной истории да еще книгу древнегреческих трагедий, как-то внутренне взвеселился, казалось, и дремучая его борода пошла искорками. Потрепанную книжку древнегреческих трагедий я прихватил в последний день в Смоленске, почти случайно, не знаю, что мне в ум взошло. Книга-то была библиотечная, и я ее не успел сдать. Зато таким образом в романах о заповедном бреге появился рефрен из Еврипида: «Безумье? Пусть! В нем слава Диониса». Дионисийство лучше всего тогда соответствовало юным помыслам, а феерические закаты над плотно-синей стеной Байкальского хребта за морем и гимнические рассветы над снежными верши-

Олег Николаевич Ермаков родился в 1961 году в Смоленске. Прозаик, автор книг «Знак зверя» (1994), «Запах пыли» (2000), «Свирель вселенной» (2001) и др. Живет в Смоленске.

нами Баргузинского хребта, испещренного золотом берез и лиственниц, изумрудом кедров и сосен, киноварью осин, голубики, захлестывали экзотическими волнами вершащихся радений таинственных сил. И уж коли явились здесь отсветы Эллады, стоит заметить, что Меньшиков, тридцативосьмилетний в ту пору электрик заповедника, уже пребывал в аполлонической ясности, оставив бурления молодости позади, как перекаты и водопады на горной реке.

Валера полистал книжку и сказал, что бывал в приближенных к Греции краях — в Крыму. Одно время они с женой обитали там в старом домике, познакомившись в геологической партии в Сибири, оба были геологи, но жена его, синеглазая лобастая чудесная Лида, была родом из Воронежа, а Валера родился тут неподалеку, за Баргузинским хребтом — в Баргузине, том самом, в котором отбывал ссылку друг Пушкина Кюхельбекер. И возле дома Кюхельбекера жила родная тетя Меньшикова. Валера в годы молодые обретался то в Улан-Удэ, то в Иркутске, любил пропадать в тайге, ночевать на сопках под русскими и уже монгольскими и китайскими звездами, читать всякие книги, и больше всего ему по душе были стихи. А как иначе, если уже и сам кропал такие вот вирши:

Я Пушкину стану собратом.
Не кричите: Парнас не про нас,
Если нынче скачусь обратно —
Завтра грянет победный час...

В те времена Валера тянул линии ЛЭП по сопкам Бурятии, вел неприхотливую жизнь, чем-то сродни жизни Велимира Хлебникова, перебирался по общагам Улан-Удэ:

Закупи со дня «полбанки»,
Затопи пожарче баньку —
Смоем пот, пыль, грех:
Словно заново родимся
И обратно возвратимся
В тот же пот, пыль, грех.

После института уже ходил по Сибири в геологических партиях. Там и увидел свою синеглазую Лиду с необыкновенными белыми зубами, даже подсматривал утром, как она умывается в ручье, — чем таким чистит зубы? Да чем, обычной пастой «Жемчуг»... Но если у других от этой пасты зубы были так себе, у Лиды — и впрямь сверкали жемчужно. Да вот решили они отдохнуть от лютых сибирских зим и лет, полных комарья, мошки и клещей, и поселились вблизи моря в Крыму. И там Валера напитывался ветрами далекой, а для сибиряка уже близкой Эллады.

Впрочем, все же иные поэтические страны были ему более по душе. Прежде всего, конечно, Русь, Россия. Любил он Пушкина и Хлебникова, Пастернака и Мандельштама, Есенина, Рубцова. Стихи последнего я впервые услышал от него. Точнее, не услышал, а прочел — уже в далеком афганском городе Газни, в полку под этим городом. И с тех пор стихи Рубцова со мною.

И многое еще довелось узнать благодаря этому человеку. Он являл собой тип народного просветителя, мудреца навроде Сократа, или нашего Григория Сковороды, или американского Генри Торо.

Разрабатывая план создания нового заповедника, Валера штудировал древних мудрецов — Лао-цзы, Чжуан-цзы, читал Библию и буддийскую литературу, различных фи-

лософов. Лида практически помогала ему: отбирала письма, приходившие в заповедник со всех концов СССР, — а работала она секретаршей в конторе. В заповедник писали военные в отставке, летчики, студенты, журналисты, ученые, хиппи, романтично настроенные школьники, поэты. С авторами самых интересных писем вступала в переписку Лида, а потом уже и Валера. Так подбирался персонал для будущего заповедника людей.

Вот, в журнале «Знание — сила» в седьмом номере за восемьдесят второй год выходит статья Н. Реймерса «Сохраняя, процветай», «экологическая и, по-моему, правильная», замечает Валера. В ней автор касается перспектив развития человечества, отмечая идею переселения в космос по той причине, что биологический вид не может существовать вне среды, сформировавшей его. Что же делать? Реймерс отвечает, что надо создавать новую иерархию ценностей, «видимо, — резюмирует Валера, — супротив идеалов потребительства — но до конца он этого не говорит, можно лишь понимать так». Ну да, год-то какой. Вот-вот помрет Брежнев. Или уже помер. И лесничий Троицкий, тоже входивший в число единомышленников Меньшикова, отправляет письмо этому Реймерсу, «хотя он и доктор наук, а мы... как ни дуйся, а дистанция огромного размера»¹.

Так и не узнал я, что ответил доктор Реймерс. И ответил ли вообще. В то время мы как раз бороздили афганские степи.

Вообще, умственная атмосфера заповедника была явно благоприятна для возникновения подобных идей. Здесь уже собрались особенные люди, ну по крайней мере, чего-то ищущие. На центральной усадьбе была прекрасная библиотека. Кроме того, многие книги можно было выписать через эту библиотеку для чтения. В научном отделе трудились ученые. По вечерам в клубе перед фильмом можно было пообщаться, а то и размяться за теннисным столом. Выпускалась стенная газета. Даже вокально-инструментальный ансамбль был, в коем и мне удалось поиграть на гитаре. А Валера был погружен в изучение фламенко. Учил он и языки: испанский, английский. В доме у них с Лидой царили чистота и порядок. Посреди пола, выкрашенного в солнечный желтый свет, высилась кедровая тахта, на которой обычно и возлежал хозяин, обложенный книгами. И вокруг похаживал важный кот Дядя. Валера любил кошек и говорил, что в прошлой жизни был котом. А Лида холила поросенка Машку. Но конечно, в прошлой жизни она была какой-то птицей, вечно чистящей перья и свое гнездо. Все в ее доме сверкало.

Кстати, о чистоте. Меньшиков терпеть не мог мата. Его это коробило. Он считал это сором. А ведь язык — орудие разума. Следовательно, что-то нечисто в разуме, коли нечист язык. Может, и оттого его глаза ясно лучились. Как, впрочем, и у Лиды.

«Язык — генетический код народа, — говорил Валера. — Как говорим — так и живем».

И в присутствии Валеры лесники, трактористы, забубенные мотористы с катера «Зенон Сватош» как-то подтягивались и съедали матерок вместе с клубами сигаретного, папиросного и махорочного дыма. То есть, можно сказать, он немного вытягивал их жизнь к чистоте. Валеру Меньшикова уважительно сторонились. Все-таки был он человек наособицу. Вроде и свой, сибиряк, а фламенко какое-то играет. Хотя чудачков там хватало. И повторю, умственная атмосфера была яснее и свежее, чем в целом по стране.

Валера вырабатывал идейную платформу не просто заповедника нового типа, но и общественной организации, аргументируя это следующим образом: «Так — пар-

¹ Николай Федорович Реймерс (4 февраля 1931, Одесса — 31 января 1993, Москва) — советский зоолог, эколог, один из главных участников становления заповедного дела в СССР. Доктор биологических наук, профессор.

тия — общественная организация на идеологической основе, профсоюз — на профессиональной трудовой основе, наша будущая — на экологической». Алексей Троицкий взялся за разработку проекта устава нового заповедника... на основе кодекса строителя коммунизма. Тут снова уместно вспомнить Василия Кесарийского, бывшего поборником кинобии, то есть монашеской коммуны раннего христианства, в которой труд безвозмезден, и никто не имеет никакой собственности, кроме обуви и одежды, никто никому ничего не дарит и не оставляет в наследство.

Но мы решили все же основываться не на христианстве, или буддизме, или даосизме, а на кодексе строителя коммунизма. Коммунизм — это братство, говорил Валера. Фашизм — затхлая кастовость. Под воздействием этого я и в армии повел речи об истинном коммунизме, очищенном от пороков позднего СССР, пошел в полковую библиотеку за Лениным и Марксом. Речи эти захватили моих друзей. И мы вступали в споры с остальными ребятами и с офицерами. Спорить-то спорили с нами, но соглашались, что так дальше жить невозможно. До крушения СССР оставались считанные годы.

Валера все вынашивал эту идею создания объединения созерцателей, которое сможет стать общественной силой. Сейчас мне на ум приходит мастер игры в бисер из романа Германа Гессе. Что-то подобное Касталии, возможно, и виделось этому сибирскому мечтателю. Касталия созерцателей, поэтов, музыкантов у кристально чистых байкальских вод, под защитой гор с заснеженными пиками.

Предвидя не только идейные битвы при попытке учреждения нашего заповедника, Меньшиков поступил на юридический факультет и учился заочно. В то время он уже выпекал хлеб в пекарне заповедника. С радостью сообщал о прибавлении единомышленников. Но и печаловался, говоря по-старинному, о том, что наш Троицкий стал уже главным лесничим и «его окружают вниманием рабочие аристократы и прельщают своей практичностью административные методы — пока Троицкий дорастет до поста директора, он соответственно переродится и никаких действий... по созданию заповедника нового типа не будет. Будет все то же». Рабочими аристократами он называл крепких хозяев Давши, озабоченных только своей мощной. Хотя, повторю, уж Троицкого заподозрить в этой страсти или даже в солидарности с этими людьми было никак нельзя. Валера и сам называл его «нашим святым». Был Алексей Троицкий остер умом, интеллигентен, начитан. Его опекали сердобольные давшинки — жительницы Давши, по-матерински заботясь о нем, чтоб был сыт, ухожен. (Позже он все-таки перебрался в Москву и работал в Министерстве природы, в парке Лосиный остров.)

Время шло, я уже вернулся из полка, что стоял под древним городом Газни, в Смоленск, работал в газете. А Меньшиковы перебрались за хребет — в Баргузин. Детей надо было доучивать и учить дальше. Драмы отправки осенью и зимой детей в Байкальск в интернат рвали сердце всем давшинским матерям. И Лида не выдержала. Да и с атмосферой Давши, как писал Валера, что-то происходило... Она выталкивала их. Не в последнюю очередь и потому, что Валера был многим непонятен, чужд, как коллапсар.

Есть у него такое стихотворение. О нем Валера писал: «Я уж, наверно, говорил, используя астрономические термины, что есть люди — звезды. Они выплескивают энергию вовне. Но есть и люди — коллапсары. Они замкнуты на себя. Во вселенной и звезды, и коллапсары необходимы. Почему бы так же не оказалось и в человечестве? На эту тему я написал длиннющий стих...

Вода летела с гор, / Дробила темный камень, / Сплетала струи в хор: / — Летите с нами! С нами! // Но глыбы — не могли; / Они заматерели. / На дно они легли — / Как мгла глубин глядели».

Мне особенно нравится эта строфа: «Но ни бурливый путь, / Ни солнечная ласка / Не в силах разомкнуть / Алмазности коллапса».

Русло этого потока заросло, горный край забыл голос человека, как вдруг люди сюда вернулись: «Канал рассек песок. / Поднялся лес в отрогах. / И люди как поток / На золотых дорогах. // И каждый глаз — алмаз / Азарта и надежды. / И нас течение масс / Возносит как и прежде. // — Ты наш! — несется гуд — / Прожорливый и лживый, / Вливайся в славный труд / Погони за наживой. // Но ни бурливый путь, / Ни даже воля класса / Не могут разомкнуть / Лобастости коллапса».

Эта лобастость, несомненно, была в Валере. И давшинский класс вытолкнул его вовне.

В Баргузине они не задержались и в конце концов оказались на юге Байкала, в ста верстах от него, в бурятской степи. Это старинное старообрядческое село, воспетое Некрасовым в поэме «Дедушка»:

Ну уж зато и народ!
Взросшие в нравах суровых,
Сами творят они суд,
Рекрутов ставят здоровых,
Трезво и честно живут,
Подати платят до срока,
Только ты им не мешай».
— «Где ж та деревня?» — «Далёко,
Имя ей: Тарбагатай,
Страшная глушь, за Байкалом...»

Таков рассказ вернувшегося из ссылки деда-декабриста.

Там и зажили Меньшиковы. Валера стал народным судьей. Тут у меня сразу возникают ассоциации с судьями из китайской классической литературы, Китай-то там совсем рядом. Во многих произведениях появляется, например, честный судья Бао.

Вольную раскольничью бороду ему пришлось подрезать. Таковы были требования вышестоящих. Ради дела Валера пошел на это. Его полюбили местные, в том числе и за бороду, хотя появились, разумеется, и враги. Им-то прежде всего борода и не нравилась. Ну а на самом деле то, как он разбирал дела и выносил решения. А он назначал пустячные наказания за пустячные правонарушения, тогда как всем хотелось кар. Но какие кары применять к ладному баянисту, танцору, чья вина лишь в том, что у него веселый нрав, который делается еще веселее от чар выпитых? И Валера обходился предупреждениями, а то и вовсе прекращал дело за «малозначительностью». Ну, в крайнем случае назначал малый штраф. Валера вообще взирал на музыкантов с благоговением. Они представлялись ему людьми не от мира сего. Вот приводят очередного нарушителя, учинившего драку на танцах. Из-за чего? Из-за тромбона. Как это? Спор там зашел о музыке, кто-то превозносил барабаны и гитары, а девушка Тромбона сказала, что любит тромбон. Тут посыпались злые насмешки. А он-то, игрок на тромбоне, здесь оказался. Ну и слово за слово — вспыхнула потасовка. У Тромбона косая сажень в плечах, навешал обидчикам... Только все показали, что драку начал именно он. Валера внимает всем этим подробностям, но уже знает, что игра на тромбоне — смягчающее обстоятельство.

Коллеги считали Валеру «юристом-романтиком». Но не один он был таким. Многим в пору перемен казалось, что суд будет выше правоохранительных органов. Валера с уважением отзывался о Зорькине, Федорове, Пашине. Романтизм Меньшикова питался не иллюзиями, а законами: написан закон — исполняй. Вот и все. Но в России именно это и есть романтизм, витание в эмпиреях, короче — маниловщина. Когда ме-

сяцами не выдавали зарплату, судья Меньшиков попытался настоять на букве закона, он буквально захотел отыскать учительскую зарплату, с таким иском обратилась одна пожилая учительница. И Валера постановил: арестовать автомобиль районного финотдела. Раз нет у вас денег для учительницы, то и сами не тратьте деньги на бензин и, вообще, продайте автомобиль и выплатите положенное учительнице. Не вышло. Попробовал затем снять деньги для зарплаты учительнице с федеральных счетов в казначействе, и тут ему быстро объяснили, что не за тот гуж народный судья взялся.

Разумеется, благосостояние судьи от всего этого не улучшилось. Валера описывал один спор в поезде с отставником, служившим прямо в Министерстве обороны кем-то. Отставник заявлял, что человек рожден, чтобы иметь, а Валера — что человек рожден быть, а то, что он имеет, дело второстепенное. Отставник возражал: быть и значит иметь. В конце концов спросил, какой марки у Валеры авто. И Валера спекся, у него, кроме велосипеда, никогда никакой техники не было. Нет! Все же в Тарбагатае он обзавелся мотоциклом «Юпитер-5», правда, с рук и не на ходу. Так этот мотоцикл и стоял безмолвным укором народному судье в сарае. Валера завешивал его мешками изпод картошки. А зря. Глядишь, в том философском диспуте с отставником и ответил бы веско: «Имею».

Но уж *иметь* он вовсе не склонен был. А вот *быть* хотел.

И когда много позже я прочел стихи, собранные в этой книге под заголовком «Грахх Бабеф», в том числе посвященное Марксу и «Апология коммунизма», то ничуть не удивился. Грахх Бабеф, о котором тоже есть стихотворение, был правдоискатель, защитник униженных и оскорбленных французов восемнадцатого века, да и всех остальных людей. Ведь и мы в полку под Газни с моим другом Андреем Киященко тоже пытались исповедовать ту же идею истинного коммунизма, втягивая в споры солдат и офицеров даже на операциях, во время затишья. Чем плох кодекс строителя коммунизма? Всем хорош! Скверно лишь исполнение. Это было такое всеобщее, можно сказать, действо: от Байкала до древнего Газни и от Газни до Ленинграда и Москвы, Смоленска, Пскова, Рязани, где жили наши друзья и родные, знакомые.

Но сейчас я бы все-таки поправил призыв Валеры из остроумного стихотворения «Апология коммунизма»:

Друг, голосуй за анархизм.

Ведь все то, что он говорит в этом стихотворении, присуще именно анархизму, и это мне ближе хотя бы тем, что в учителях Толстой и Кропоткин, Прудон и Чжуан-цзы.

«Когда правил мудрый царь, успехи распространялись на всю Поднебесную, а не уподоблялись его личным; преобразования доходили до каждого, а народ не опирался на царя; никто не называл его имени, и каждый радовался по-своему. Сам же царь стоял в неизмеримом и странствовал в небытии»².

То есть, по сути, его и не было, царя-то.

Хорошо, вообще-то, наименование страны — Поднебесная. Пожалуй, самое лучшее в человеческой истории. Тут на ум сразу приходит Борхес с его рассуждениями о небесных двойниках различных городов и стран: небесный Лондон, небесная Германия. А китайцам никакой Борхес для толкований и дополнений не надобен, все сразу есть в этом именовании: Поднебесная.

Как хотите, но это великолепная метафора жизнеустройства именно анархистского. Поднебесная — отражение небес, а какие у облаков, лучей, птиц и незримых летательных приспособлений различных духовных существ границы?

² Мудрецы Китая. Ян Чжу, Лецзы, Чжуанцзы / Пер. Л. Д. Позднеевой. СПб.: Петербург — 21 век, ТОО «Лань», 1994, с. 170.

И Валера пишет о границах. И о войне. Что взаимообусловлено. Все войны начинались и начинаются из-за границ.

Война никогда не кончалась,
А временно мирная жизнь
Для службы войны начиналась:
Стеречь рубежи, грабежи.

И он призывает выкорчевать безумное черное дерево войны, которое мы все сами и вырастили, — выкорчевать и стереть границы.

Есть бремя — стеречь рубежи.
Но время — стереть рубежи.

Мы древо безумия свалим —
Так пильчатые стены Кремля —
Мечты, словно мачты, поставим:
Пльви через Космос, Земля!

Стихотворение написано в 1984 году, то есть во время афганской войны. Валера читал «Дерево в центре Кабула» Проханова и писал мне об этом. В этом стихотворении явный отзвук прочитанного.

Валера Меньшиков был заядлым шахматистом. Не раз видел его возлежащим на собственноручно срубленной из кедра кровати посреди солнечного полотна полов — они были выкрашены в желтый цвет — перед шахматной доской, он разыгрывал партии сам с собой. Пытался и в письмах вовлечь меня в виртуальную игру, но я хотя и не чужд шахматной игре, но не настолько...

Свое стихотворение о шахматах он сопроводил пометкой «В год чемпионата». Там упоминаются Спасский и Фишер. Это 1972 год. Место действия — Рейкьявик. Сейчас можно все узнать об этом матче из Интернета. Коротко говоря, это была настоящая битва времен «холодной войны», и СССР в лице Спасского ее уже проиграл.

Задаваясь сакраментальным вопросом в начале стихотворения, кто, мол выше, Спасский или Фишер, лирический, как говорится, герой тут же резко укрупняет масштабы, подтверждая мое давнее умозаключение о том, что поэт — существо вертикального взлета. (Поэты — создания вертикального взлета, писал я в книжке «Покинутые, или Безумцы». Они сразу проникают ввысь. И уже ведут свои репортажи оттуда. Поэтов питает темное древнее вино — ведь поэзия древнее прозы. Это вино — ритм, хаома, дающая пропуск дальше, туда, куда прозаику путь заказан, почти любому. Вот стихотворение вертикального взлета, стихотворение, брызжущее винной росой, Эзра Паунд: «Я, истинно я, — тот, кто знает дороги / В небесах, и ветер, следовательно, — мое тело. / Я воочию видел Владычицу Жизни, / Я, истинно я, — летящий в облаке ласточек...»)

Герой стихотворения Меньшикова совершает то же самое: «А мне-то что? // Я вижу — / Летит планета / В тенетах гравитации, / Как шарахнутая с досады / Шахматная доска». Довольно забавно это: а мне-то что? Тут можно услышать даже какие-то отзвуки песни Высоцкого об этом матче, переводящей высокий накал интеллектуальной и политической борьбы в простонародный регистр.

Дальше — круче:

Кто проиграл —
 бог или черт?
А мне-то что?
 Я слышу...

Что же он слышит?
Да все то же:

Опять поднимаются короли,
Опять иерархия Иерихоном выстроилась.

Здесь тоска о подлинном равенстве и братстве.
Взгляд с поэтических высот все-таки преображает любое событие:

Игра искрится в квадрантах Земли
Вспышками золота и выстрелов.

Тут интересно использование определения «квадрант». Сначала я подумал, что неверно расшифровал запись фотофайла. Надо ведь «квадрат»? Шахматная доска из квадратиков и состоит. Но... это показалось как-то просто. Обычно в таких ситуациях я ошибался, упрощая. Валера Меньшиков часто обманывал мои ожидания, доставая из *колымской* гальки слов металл благородной породы. Так и тут. Укрупнив текст, увидел «н». Квадрант?..

Это, вообще-то, астрономический инструмент для измерения возвышения светил, но и артиллерийский инструмент для проверки прицельных приспособлений орудия (точно! ведь я сам служил в артбатарее, правда топогеодезистом, а вот мой товарищ Шура Фефелов был вычислителем, и он упоминал эту штуку), но это и квадрант плоскости в топографии (эй, топогеодезист, очнись!) и в математике; а также Галактический квадрант — один из четырех секторов, на которые принято делить Млечный Путь, как сообщает Википедия; и — мелкая монета в Древнем Риме, элемент в архитектуре в форме дуги и, наконец, вымышленная территориальная единица из фантастической саги «Звездный путь».

Но герой уже возвращается на землю:

Разыгрывается
 все та же старая партия:
Черные и белые. Плебеи и патриции.

Я знаю — не всем выходить в ферзи.
Пред кем форсить? И кого — бояться?
Нам — расшибаться пешками вдрызг
В чьих-то бешеных комбинациях.

В письмах он сообщал о своем житье-бытье, о зимних вечерах, когда он сидел с гитарой, наигрывая фламенко, Лида читала, в поселке завывал степной дикий ветер, печь тихо гудела, по комнате похаживал кот — все, как у Фета, писал Валера. И рассуждал о том, что если есть судьба, то есть и вечность как полнота времен, и, следовательно, мы существуем на двух уровнях: во времени как корпускулы и в вечности как волна...

Еще он говорил, что ничего случайного не бывает. Все линии, кажущиеся случайными, закономерны, и они закономерно однажды пересекаются. Его письма поддерживали нас в минуты, как говорится, роковые. Валера называл нас родней *по давшинскому кислороду в крови* и относился к нам по-отечески, ну, или как старший брат. Меньшиковы звали нас в гости *хотя бы на месяц*. Готовили нам светелку, рассказывали о всяких разносолах, которые поджидают нас. Сулили экскурсию на Байкал, а то и в Давшу, тихо пустевшую все годы новой России. В конце концов там остались всего несколько человек. Лесники работали в заповедниках вахтовым методом. Долгие годы заповедник возглавлял Геннадий Андреевич Янкус. В ту пору, когда мы пытались подступиться к созданию заповедника нового типа, отношение к директору было скептическим. Но теперь-то стало ясно, как много хорошего он делал для охраны уникальной баргузинской природы. С этим соглашался и Валера.

Идея нашего заповедника осталась... где-то там, во времени, некий мысленный образ витает над бирюзой и снегами сибирского моря.

Теперь мы обсуждали разные новости, но чаще всего — книги и стихи. Стихи чужие. О своих Валера предпочитал не распространяться. И только если я настойчиво просил, что-нибудь показывал, замечая: «Час не грянул. Сейчас-то мне ясно, что часы надо делать, заводить — только тогда и грянет», — повторяя, по сути, строки Рубцова: «Сам ехал бы и правил, / Да мне дороги нет».

Часы надо было заводить? А разве он не заводил? Вот когда уходил из Улан-Удэ с рюкзачком, ночевал под кедром у ручья, созерцая звезды, гадая о судьбе и мечтая лишь об одном, чтобы сбылась единственно благая ее ипостась — поэтическая. И там-то от сопок к звездам тянулись его строки.

Мой дальний родственник, звезда!
Как вы живете?
Я вам завидовал всегда...

Стихи его печатались два-три раза в бурятских газетах, кажется, раз в тамошнем альманахе. И все.

Но Валера не отчаивался. То есть, конечно, отчаивался.

Но вот лежат мои стихи,
И видно: ничего не весят,
И стол не выгнется от них.
О, как меня бессилье бесит!

Неужто я из тех, в которых
Мог солнцем вспыхнуть божий дар,
Но, не найдя в душе простора,
Лишь тлеет да чадит угар.

Но все-таки не оставлял эту ношу *геолога*. Метафора эта сама здесь блестит, как самородный благородный металл. Валера лучше всех знал это.

И только летучее золото слова
Пронзает сочувствием бога любого.

И продолжает в том же духе:

Я думы свои, как колымский песок,
Пытался промыть на ребристости строк,
Чтоб слово добылось
И всем полюбилось,
С ним — горе б избылось.
Но так не случилось.

Снова рубцовская нота смотрения другим — удачливым — вослед. Снова та же дилемма: быть или иметь? Иметь статус поэта, публикации или просто им быть? Вся жизнь Меньшикова — классический пример нестяжательства.

Мне надоело слушать вас
Про то, кого и сколько раз.

Знать не желаю ничего
Про что почем и у кого.

Давайте поглядим во тьму —
Куда, и как, и почему?

Во тьму он и всматривался с пристальностью.

На стройке ли, на жнивье ли
Наращивать жизни мощь,
Я знаю, что день нужнее,
Но сердцу — милее ночь.

Отчего же? В чем причина? В надежде, что «чистые крылья рассудка» над суетой и мельтешеньем вознесут. И ночью настает царство тишины.

Прости: для них мощна мошна,
А тишины не знают цену,
Тогда как душу со вселенной
Связует только тишина.

Вот и ответ. Но развернутый ответ дан, пожалуй, вот в этой цитате из Псевдодионисия, писавшего в «Послании к Тимофею...» о созерцании «того сверхъестественного Мрака, который сокрыт во всем сущем от тех, кто хотел бы узреть его». Это основание апофатического, то есть отрицательного, богословия. Сам человек, называвшийся Дионисием Ареопагитом, сокрыт покровом: установлено, что это вовсе не Дионисий Ареопагит, а может, грузинский муж Петр Ивер, живший в пятом веке, почему его и называют Псевдодионисием. Он считал главным атрибутом Бога мрак, приводя в пример 17-й псалом: «соделал мрак покровом Своим». И тот же мрак окутывал Моисея, когда ему явился Бог. «Поэтому отрицательные определения Бога предпочтительнее положительных, ибо позволяют восходить от познания низших к познанию высших атрибутов Бога и через отказ от сущего обрести полное ведение... неведения...»³

³ Е. А. Торчинов. Опыт запредельного. СПб.: Азбука-классика, 2021, с. 502—503.

Тишину Меньшиков любил. Стихи «Прощай, Давша», «Антисобачья рапсодия» ярко свидетельствуют об этом.

«Он хочет знать, откуда эта сущность, он хочет в самую глубину, единую, в тихую пустыню, куда никогда не проникало ничего обособленного, ни Отец, ни Сын, ни Дух Святой; в глубине глубин, где всяк чужой, лишь там доволен этот свет, и там он больше у себя, чем в себе самом. Ибо глубина эта — одна безраздельная тишина, которая неподвижно покоится в себе самой. И этим неподвижным движимы все вещи»⁴.

В письмах Валера с пиететом упоминал Мейстера Экхарта.
Образ уходящего странника витает над его стихами.

Нынче время, что все на колесах.
И тревожно увидеть в пути
Пешехода — котомка да посох —
Он аварии символ почти! —

писал Меньшиков. И сам явился таким пешеходом. Как тут не вспомнить пешеходов минувшего: Григория Сковороду, Генри Торо — и на тысячелетия вглубь — Чжуан Чжоу и Лао-цзы, о которых я и узнал от него впервые. Хотя Лао-цзы под старость и говаривал, что мудрецу ни к чему много шагать, весь мир к нему сам приходит... Да и взял и оседлал быка и уехал на Запад. В китайских реалиях это Средняя Азия, Афганистан, далее — Индия... Значит, все-таки не весь мир был ему подвластен?..

В каком-то смысле и Валера ушел на запад, если понимать под этим мир тени, мир без солнца. В стихах этот мотив — ухода — прослеживается начиная с давних пор. То есть — в стихах Меньшикова, а не вообще в поэзии. Хотя дыхание традиции тут очевидно.

О край золотой и синий,
Заблудшего сына прости,
На праздник берез в низине
Осеннее сердце пусти.

Ведь песенным даром божьим
Сродни я твоим лесам.
Ведь нынче прощально, быть может,
Горю, словно осень, сам.

Но это еще красочно, романтично. А вот уже — холоднее, хотя все так же романтично:

Торжественно, холодно, солнечно.
Вокруг совершенство само.
Пускай бы и жизнь была кончена
В снегах, словно к звездам письмо.
И совсем сурово:
Точен зрелый счет,
Тошен белый свет.
Есть один исход,
Но прощенья нет.

⁴ Мейстер Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения. М., 1991, с. 138—139.

Валера Меньшиков решил именно на такой исход. Родной кислород был перекрыт — в жизни, в стихах, в письмах. Он называл нас с женой родней по байкальскому кислороду в крови.

Что же, ноша оказалась не столь легка? Ноша одиночества — да. Лучезарная Лида, тяжело заболев и промучившись, оставила его. Еще несколько лет Валера сопротивлялся, тосковал о Лиде.

За что ты выбрала меня,
Меня — бродягу и глупца?
Под хмелем свадебного дня
Я не дарил тебе кольца.

Но у этих геологов было другое золото, летучее золото не только поэзии, помыслов, но и любви, что, впрочем, подразумевается первым. Золото это и осталось... Но — уже не все, половина, а другая — далеко:

Я вышел, и такая тьма
Меня мгновенно облепила,
Остановила, ослепила,
Такая тьма — как смерть сама.

Застыл. И стало все равно:
Взаправду ль умер, просто ль замер —
И вот тогда перед глазами
Во тьме зажглось твое окно.

И однажды был подведен роковой итог:

Закругляйся, счет.
Меркни, белый свет.
Жалко тех, кто ждет
От меня привет.

Но свет окна, свет поэзии Меньшикова не померк.

Когда его дочь Ольга (помню ее девочкой на берегу Байкала в заповеднике; сейчас она семейный человек, у самой два ребенка, сын и дочь, как и у ее родителей) прислала мне фотофайлы с его рукописями и я принялся их расшифровывать, это стало ясно вполне.

Ясно мне стало и то, что очень плохо знал этого человека. Многие стихи его меня удивили — пронзительной детскостью, что ли. Не ожидал этого от крупноплечего бородача...

В мое окно звезда глядела.
Я называл звезду — моей.
И лампа в комнате горела
Яснее от ее лучей.

Чего я ждал? Кому маячил?
Теперь понятна эта страсть.

Но знаю, где-то грезит мальчик
И карандаш грызет, как сладость.

Ну вот, к легкой ноше музыки — «Мехи баяна так пружинны, / Что ноша музыки легка» — добавляется сладкое вещество поэзии, — в пору поэтов сравнивать с пчелами, что, конечно, не ново. Но так и есть. Еще и другое сравнение напрашивается — с алхимиками, превращавшими ртуть и медь в серебро и золото. И это происходит на наших глазах: тяжкие строки горечи и печали, сверкая, воспаряют. Таков закон поэзии. И душа поэта здесь тигель, старательский лоток.

Поэту ведомо и мастерство старины Дедала.

Иногда он и сам становится его сыном. А еще и Орфеем... Ведь нельзя же не дать просверкнуть эллинским упомянутым светам еще раз?

Правда, в той книжке точно не было трагедии «Орфей и Эвридика», ее время еще не пришло.

А теперь уже все свершилось, жизнь, судьба. Но нет, таинственная нить поэзии длится, дрожит, о чем и предупреждал Валера:

Настанет срок, мы, жизнью истончась,
Сойдем на острие, но не исчезнем:
Сработавшие в общем деле честном,
Мы будем длить космическую связь.